

## СЕНО В СТОГУ

В случае, о котором я рассказываю, участвовали люди, которые живы-здоровы и могут подтвердить мои слова. Да и с чего бы мне врать.

В июле, после Крестного хода, я был в Советске, это город в Вятской земле, районный центр, бывшая слобода Кукарка. Можно было бы в демократическом экстазе вернуть имя Кукарки, а жители сказали: нет, Советск — хорошее, русское слово, будем советскими, а Кукаркой назовём ресторан на рынке. Раньше в Советске была шутка — приезжим говорили: «Вы находитесь на дважды советской земле».

Там я остановился у давнего знакомого, врача Леонида Григорьевича. Большое хозяйство, которое он держал, поднимало его с солнышком и укладывало за полночь. Шли дожди. Леонида Григорьевича больше всего тревожило, что на лугах в пойме Вятки лежит скошенное сено, плохо сохнет, может пропасть.

Назавтра, к вечеру, я собирался уезжать. Это, конечно, огорчало Леонида, всё-таки я бы помог. На сенокосе, особенно на гребле, лишней пары рук не бывает. Дети Леонида рвения к метанию стога не проявляли. А мне, сохранившему воспоминания о счастливой поре сенокоса в большой семье, хотелось ощутить в руках и грабли, и вилы. Но что будешь делать — не метать же влажное сено: сторит, сопреет.

После обеда, накануне, дождь перестал. И хотя солнышко явно загостилось в облачном доме ненастья и нас не вспомнило в тот день, потянуло спасительным, проветривающим ветерком. И ночью обошлось без дождя. И утро стояло ясное. Но, по всем приметам, дождь надвигался. Леонид глядел и на север — тучи, и на запад — тучи, вздыхал.

— А на день не можешь ещё остаться? — спросил он меня.

— Никак, Леонид, никак. Остаётся жить мне тута один час, одна минута. Но давай съездим, хотя бы пошевелим, перевернём.

— Бесплезно. Смотри. — Он показал на небо. — Может, помолишься?

А до этого, именуя себя материалистом, Леонид часто втягивал меня в разговоры о религии. Тут я не стал ничего говорить, ушёл в дом. В доме у него были иконы, которые остались от матери Лилии Андреевны, жены Леонида. Тёща у него, по его словам, была набожной.

Вздыхнув, я перекрестился и прочёл «Отче наш». Кто я такой, великий грешник, чтобы Господь меня услышал! Но так хотелось помочь хозяевам, особенно Лилии Андреевне, которая по болезни не могла уже быть на гребле, но прямо слезами плакала, что если не будет сена, то придётся телочку Майку пустить под нож. «Не переживу, — говорила она, — не переживу, если будем убивать Майку, такая ласковая, только что не говорит».

Во дворе Леонид возился у своей трижды бывшей и четырежды списанной «скорой помощи».

— А кто ещё поможет метать?

— Брат двоюродный Николай Петрович, жена его Нина, ты, я — четверо на стог. Нормально?

— Нормально. Поехали. Не будет дождя.

Леонид расстегнул куртку, перетянул широкий ремень-бандаж на животе — мучился с грыжей, поглядел на меня, на небо и пошёл звать Николая Петровича с женой.

Николай Петрович много не рассуждал. Сел в кабину рядом с Леонидом и скомандовал:

— Заводи... глаза под лоб.

Когда спустились к Вятке, проехали вдоль её прекрасных берегов и достигли огромной поляны, которая была выкошена тракторной косилкой, когда я осознал, что всё это скошенное пространство надо нам сгрести, стаскать, сметать, то подумал, что пришёл последний день моей жизни. Надо запомнить напоследок красоту вятской родины, подумал я.

Молчаливая жена Николая Нина уже тихонько шла впереди, сгребая первую волну влажноватого сена. Но я заметил, что двигалась она хоть и медленно, но непрерывно. Глядишь — она тут, а посмотришь — уже там. Николай, её муж, человек огромного роста, работник был невероятной мощи и производительности. Он орудовал граблями почти в метр шириной и с ручкой метра в три. Моё восхищение им его подстёгивало. Обошли поляну раз. Обошли, под запал, и два раза. Солнце наяривало во всю мощь. Но жара была тревожной, душной, земля парила.

— Бесплезно, — в отчаянии говорил Леонид. — И нечего даже мечтать, смотрите, со всех сторон затаскивает.

И точно. Уже и солнце с трудом стало прорываться сквозь рваные тёмные тучи, уже мелкие капли упали на запрокинутые лица.

— Копнить! — скомандовал Николай и побежал к машине за вилами.

Бегом-бегом скопнили. Надо ли говорить, что я всё это время творил про себя Иисусову молитву попеременно с тропарём святителю Николаю «Правило веры и образ кротости». Дождика не было, но и солнца тоже.

— Поехали, — обречённо сказал Леонид. — Дождя когда не будет потом, копны развалим, просушим...

— Как Бог даст, — впервые подала голос Нина.

— Леонид, — спросил я, — вот мы в эти дни всё вели богословские диспуты. А вот конкретно: если сегодня поставим стог сухого сена, ты поверишь в Бога?

— Да как же ты поставишь? — Леонид прямо вытаращился на меня.

— Не я, а мы все вместе. Так как?

— Смечем — поверю.

Сверкала водяными жемчугами наша поляна, стояли тёмные, тяжёлые копны. Небо вокруг хмурилось. Над нами еле-еле расчистилось светлое высокое пространство. Пришёл ветерок, стало выглядывать и греть солнышко. Для начала мы не стали раскидывать копны, а сгребали остальное сено. Потом развалили, разбросали и копны. Мы с женой Николая черенками грабель шевелили сено, растеребивали его сгустки. Леонид и Николай готовили остожье, ставили стожар.

Пообедали. На небо боялись даже поглядывать. Громыхало на западе и слегка посвечивало отсверками далёких пока молний.

Стали метать, выбирая просохшее сено. Потом неожиданно обнаружили, что оно всё сухое, можно грести подряд. Сено уже не шумело, а шуршало под граблями.

Носилками мы стаскали сено с дальних краёв поляны, валили под стожар. Стог настигвал Леонид. Нина подтаскивала сено и подгребала.

Как только у Николая терпели вилы, непонятно. Он пообещал Леониду похоронить его в стогу вместе с сеном, но Леонид, несмотря на грыжу, был так ловок, что распределял наши навильники равномерно по окружности растущего на глазах стога.

Пошли на вторую его половину. Гремело всё сильнее. Забегали бегом. Я всё читал и читал про себя молитву. Кажется, что и Николай, и Леонид тоже, пусть по-своему, молились. Однажды, внезапно оглянувшись на Нину, я увидел, что она торопливо перекрестилась.

Стали очёсывать, равнять бока. Очёсанное кидали Леониду. Стог становился огромным. Чисто выгребенная поляна светилась под лихорадочным, торопливым солнцем, как отражение чего-то небесного.

Дождь, было видно, шёл везде — и у Вятки, и за Вяткой, и на горе, в деревне. Не было дождя только над нами.

Николай подал Леониду вицы — заплетённые петлёй берёзки, которые Леонид надел на стожар и по одной из них спустился. Он даже не смог стоять на ногах, так и сел у стога. Сели и мы.

И только тут пошёл дождь.

— Ну, крестись, — сказал я.

Леонид только судорожно хватал воздух, растирал ладонью заливаемое дождём лицо и всё кивал и кивал. Наконец прорезался и голос.

— Да, — говорил он, — да, да, да!

## БУМАЖНЫЕ ЦЕПИ

С годами всё обострённее вспоминается детство, особенно Новый год. Ёлочных игрушек у нас было мало — терялись куда-то. Вот была картонная курочка, бронзовая, с крохотным красным гребешком, а — принесли из чулана коробку с игрушками, разбираем — нет курочки. Клоун тут, самолётик тут, домик тут, где курочка? Началось следствие. Старшая сестра вспоминала сама и заставляла всех вспоминать: кто в прошлом году разбирал ёлку, кто? Никто не помнил. И вообще никто не любил разбирать ёлку, всем хотелось, чтоб она подольше постояла. Значит, родители. Но чтобы родители могли сделать что-то небрежно, такого и подумать было невозможно. Потерянная курочка становилась ещё дороже именно от того, что была потеряна.

— К соседям ушла, в соседский сарай, — говорила мама, — там несётся. Ничего, к Пасхе вернётся, без яиц не останемся, не переживайте.

В заботах о новой ёлке курочка забывалась. Да если бы она и не пропала, всё равно надо делать новые игрушки. И фонарики, и цепи, и снег, и флажки. Оказывается, отец уже приготовил старые газеты, пузырьрёк клея, кисточку, краски. Все хотели клеить кисточкой, ссорились. Но мало-помалу налаживалась работа дружной бригады. Мама стригла газеты на длинные узкие полоски, их с одной стороны покрывали разными красками или тушью, они быстро сохли, их резали на равные частички — это для цепей. На фонарики — тетрадную бумагу. Для «снега» жертвовали разноцветные промокашки. Первое кольцо для цепи склеивалось сразу, второе, в виде полоски, продавалось в первое, потом тоже склеивалось. И так далее. Подбирали цвет, чтоб не было подряд двух красных колечек или двух синих. Клея к этому времени не оставалось, и вместо него пользовались варёной картошкой. Хорошо бы, конечно, сделать клейстер из муки, но если можно картошкой, то зачем тратьте муку.

Мама доставала со дна швейной машинки «Зингер» шпульку ниток. Шпульку раскручивали, сматывая столько нитки, чтобы её хватило на несколько раз от стены до стены. Это для гирлянд с фонариками и флажками. Гирлянды возносились на свои места самыми первыми, ещё до появления ёлки, чтоб потом её не потревожить.

А цепи, копящиеся около стола шуршащей грудой, все удлинялись и удлинялись. И уже мне казалось, что хватит, нет, старшие продолжали трудиться, значит, и я с ними. Младшие засыпали прямо за столом. И на другой день, в последний день старого года, ещё все делали цепи. Но уже без нас со старшим братом, мы шли на лыжах за ёлкой. Брат по-мужички затыкал топор за ремень телогрейки, мне доверял только санки.

В лесу, в его тихом, белом сиянии, ожидающем восхождения солнца, ёлочек были целые заросли.

— Эту возьмём! — кричал я, хватая ту, которая ближе. Снег осыпался с ветвей, ёлка радостно зеленела. Любая ёлка казалась мне красавицей, мало того, я люблю жалел и желал всем ёлочкам счастливого Нового года.

— Маленькой ёлочке холодно зимой, — говорил я, — из лесу ёлочку надо взять домой. Давай побольше наберём, — предлагал я брату. — Все нарядим, им же обидно, вот одну возьмут, а другим — так под снегом и жить?

Брат взглядывал на меня с непонятным мне интересом и всё искал и искал единственную из десятков самых разных. Уже и солнце всходило, уже я замерзал и хныкал, а брат всё продолжал поиски. Наконец решался. Но уж зато и ёлочка у нас была! Ровно под потолок, шатёрником, веточка к веточке, а запах! Будто брат и запах выбирал — запах слышался уже в снях. В чулане находили прошлогоднюю крестовину или делали новую, устанавливали ёлку и начинали наряжать. Младшие улепляли игрушками подол ёлочки, мне доставались ветки повыше, маме ещё повыше, брат залезал на табуретку и украшал самый верх. Сестра подавала ему игрушки и командовала. Отец осуществлял общее руководство.

Начинали окружать ёлку цепями. Осторожно, чтоб не порвать, подавали брату, он закреплял первое колечко на лапку у звезды, потом переставлял табуретку, принимал от нас волны бумажной цепи, которая серпантинной спиралью опоясывала разноцветное зелёное чудо.

Доблесть была в том, чтобы цепь нигде не разорвалась. Если кто попадал между ёлкой и цепью, работа останавливалась. Попавший вылезал на свободу.

— Ой, не хватит, — переживала сестра, — ой, давайте реже окружать.

Но реже не хотелось, потому что когда много таких цепей, то вся ёлка становилась кружевной. И всегда всё сходилось в самый раз. Последнее колечко укрепляли на ветке у самого пола.

— Это как пельмени стряпаяешь-стряпаяешь, — говорила мама, — и боишься, вот теста или фарша мало будет, вот лишнее, а всегда выходит точно.

Мы любовались ёлкой. Отец начинал рассказывать, какие ёлки были в его детстве. Мы это, конечно, слышали. Ещё бы ему не помнить — делали фактически для него одного, он был один сын, а кроме него, десять сестёр, наши тётки.

— Один раз тятя поехал на Тихорецкую ярмарку, — начинал отец. Мы уже знали, о чём будет рассказ, о французской булке, но с радостью слушали, таких булок мы не едали. — Поехал и привёз всем калачей, сушек, а мне ещё отдельно французскую булку. Бабушка говорит: «Съешь, Колюшка, половинку сейчас, а вторую половинку завтра». — И разрежала булку. А мне это так обидно показалось, говорю: «Зашивай, и виле!» И она, что вы думаете, она...

— Зашила! — кричали мы.

— Барином рос, — говорила мама, — нечего говорить, баринном.

— Да, — довольно хмыкал отец, — мне ногами до пяти лет не давали ходить, всё на руках таскали.

— Так уж до пяти? — сомневалась мама.

— Ну до трёх, — сбавлял отец и вспоминал дальше. — А у нас в деревне были микаденки, прозвали по отцу, у них отец пришёл с японской войны и всё время говорил: микадо, микадо, это японское слово.

— Это — император, — говорила сестра.

— Семья большая, звали детей микаденки. У них был японский фонарь, ох, они им хвалились. Их тоже выслали. Их раньше, успели собраться, может, фонарь сохранили, а нас высылали, ни минуты на сборы, всё бросили. Игрушки пропали. А в Сибири игрушки делали из шишек. Навешаем кедровых, потом орешки щёлкаем.

— Ой, а корова, — вскрикивала мама. — Отец, пойло приготовил?

— Так точно! На моей фабрике ни одной забастовки. Вот как нас ёлка увлекла, даже про корову забыли. А у неё скоро будет телёнок, к ней надо чаще ходить.

Но как же не хотелось уходить от ёлки! Раньше мы наперебой, напередир, как выражалась мама, старались завоевать право нести фонарь, идти с мамой или с отцом давать корм корове, поросёнку, курам, а сегодня маме пришлось назначать себе спутника.

— Нет добровольцев? — спросила она и поглядела на ёлочку. — Ну, конечно, где ж корове против ёлки.

Да, но оставалось в деле украшения ещё одно — «снег». И оставшуюся цветную бумагу, и промокашки резали мелко-премелко, потом в большом блюде этот «снег» — название «конфетти» мы узнали позже — этот «снег» перемешивался, брат опять залезал на табуретку, я на вытянутых над собой руках держал блюдо, брат пригоршнями черпал из него и обдавал нашу ёлочку как будто дождём. А последние заскребышки взлетали над нами и падали нам на головы, на плечи.

— Ой, — пищала младшая сестрёнка, — ой, на реснице сидит, ой, тихо! Ой, упала!

И она начинала реветь.

Младший брат пытался водворить «снежинку» на ресницы сестрёнки, но тут возвращалась мама. Мы ужинали и начинали ждать Новый год.

Не только «конфетти» — всё будет позже: будут папиным-маминим внукам, нашим детям дорогие заграничные ёлочные украшения, мигающие электрические гирлянды, шагающий игрушечный дед-мороз, луноход на батарейках, трещащие, похожие на запаравдашние, автоматы и настоящий Дед Мороз, приносящий в оплаченное время



оплаченный подарок, всё будет. И уж, конечно, съедобные подарки будут другими: фрукты, шоколад, конфеты всех мастей. «Нам бы в детство такие конфеты, — недавно сказала сестра, — мы бы из этой серебряной фольги резали „снег». Да уж, вспомнили мы свои тогдашние подарки в пакетах из газет: печенишко, конфеты-подушечки, булочка. Пакеты вышли из моды, началась новогодняя упаковка из полихлорвинила, в виде матрёшки, сундучка, царь-пушки, золотого ключика, а то и вовсе в виде башни...

Но все-то мне кажется, что у нас было больше радости от Нового года. Больше. Мы сами созидали его. Сидя у керосиновой лампы, тычась от усталости носом в стол и всё равно ни за что не уходя, пока не будет полночь, пока не наступит этот щемящий, так томительно ожидаемый и тут же исчезающий миг, — разве можно уйти спать, провалиться в сон? Да ни за что! Мы сидели, глядели на ёлку, кое-что ещё подправляли на ней, каждый раз обсуждая, как будет смотреться перецепленная игрушка на новом месте.

— Ты от порога посмотри, ты близко смотришь, — говорила сестра.

Старший брат брал в руки лампу, и мы торжественно обходили ёлку вокруг.

— Хороводы завтра, — строго говорила сестра. — Сейчас в «морской бой» или в «города».

— В «пуговики», — хныкал младший брат. Он уже совсем-совсем засыпал. Младшая давно спала.

Первое своё стихотворение я написал именно в новогоднем ожидании: «Растёт история, и вот мы вместе с ней растём. И пусть войдём мы в Новый год, как в новый дом войдём».

А наутро так ликовало солнце, будто тоже понимало, что надо жить в новом году по-новому, оставив в старом всё плохое. И хотя мы по-старому ломали лыжи, бросаясь на них с Красной или Малаховой горы, по-старому обмораживались, но всё равно, счастье продолжалось: дома нас ожидала ёлка, и её запах соревновался с запахом свежей стряпни. О, эти мамины плюшки, ватрушки, это зимнее мороженое молоко, эти пёстрые пузырчатые блины...

Самое загадочное, что на следующий год бронзовая картонная курочка находилась, и мы спорили, где ей лучше жить на ёлке. Ей на смену терялся домик, потом он тоже находился... И всегда-всегда делали бесконечные бумажные цепи, оковывали ими ёлочку.

И вот я, понимающий, что в моей жизни всё прошло, кроме заботы о жизни души, думаю теперь, что именно этими бумажными цепями я не ёлочку украшал — я себя приковывал к родине, к детству. И приковал. Приковал так крепко, что уже не откуюсь. Многие другие цепи рвал, эти не порвать. И не пытаюсь, и счастлив, что они крепче железных.

Правда, крепче. Детство сильнее всей остальной жизни.

## **ЗАСТОЙНЫЕ ВРЕМЕНА**

В тот давний морозный декабрь в Вятке, куда я примчался из слякоти и туманов Москвы, я был здоров, счастлив и молод. Первые мои рассказы, напечатанные в столичных журналах, дошли до родины, один даже с фотографией, что восхищало. Вот, не вру, увидел в троллейбусе девушку, читающую мой рассказ. «Это — судьба», — забилось сердце. Я с ходу подсел, она покосилась, отодвинулась, а я сообщил: «Это я написал». Она ответила: «Иди, дядя, проспись»...

Вятка — это Вятка. Конечно, нет пророка в своём Отечестве, тем более в недоверчивой Вятке, но ведь родина. Родина. Родила и вырастила, как не мечтать чем-то

отблагодарить. Вот и считал свои рассказы малым вкладом в «малую» родину. Малой родиной называли место рождения писателя. Для кого малая, а для меня — всесветная. Таковой же она, уверен, была и для вятского русского поэта Анатолия Гребнева, живущего в Перми. Именно с ним мы встретились в эти морозы. Навестили писательскую и журналистскую организации, сходили во главе большого коллектива пишущих в баню, естественно, в номера. Естественно, с допингом для увеличения радости жизни. Вымылись и выслушали новости светской жизни областного центра.

— Нет, Толя, — сказал я, когда мы остались одни, — это счастье, что мы живём не в Вятке. Счастье. Приехали и уехали, а живи тут постоянно? Ведь это надо было бы участвовать в «борьбе». Ну чего вот он (я назвал фамилию) с бабами связался?

— А этот, — Толя назвал другую фамилию, — уже рехнулся от сознания своей гениальности. Ты слышал, он говорит: я — вятский Гоголь.

Я передал Толе приветы и поклоны от Анатолия Кончица, прекрасного писателя, тоже, естественно, вятского, живущего в Москве. Он сын сосланного в Вятку белоруса и подосиновской женщины. Не женщина из-под осины, а район такой, Подосиновский. И пересказал Толе до сих пор не напечатанную повесть Кончица. О ней чуть дальше. ...Пока же закончу рассуждение о климате провинциальной культурной жизни в сравнении с московской. В провинции враждуют всерьёз и подолгу. В писательской организации из десяти членов всегда восемь партий. Вражда идёт до гробовой доски, закручивает события, втягивает и ближних, и дальних. В Москве враждовать некогда. Во-первых, в Москве никому ни до кого нет дела, во-вторых, в Москве много писателей, и все гении, в-третьих, событий, то есть сплетен, такое количество, что их не переварить. Утром узнаёшь, что такой-то уехал в Израиль, к обеду — что такой-то оттуда вернулся, а такая-то ушла от такого-то к такому-то (так ему и надо), вечером в ЦДЛ подрались (вчера тоже дрались, но как-то не так, сегодня ярче, милиция была), такой-то выдвинут на премию, а такой-то задвинут (конечно, надо наоборот, да разве ж эти там, в секретариате, чего-нибудь понимают), того-то избрали, а того-то прокатили (надо было обоих прокатить), а эта сучка только приехала из Франции и уже включена в делегацию в Италию («а ты что ж, не знал, она же стукач-ка»), то есть такое количество событий, стычек, лагерей, заседаний, что когда уж тут подолгу враждовать. Одно было и продолжается противостояние: евреи и русские. Но как-то же уживались, сидели на одних совещаниях, пьянствовали вместе, делить, конечно, было что (издания, звания, поездки...), но как-то и это решалось. Я потом долгие годы был в Приёмной комиссии, сейчас некогда, а надо бы рассказать, как принимали в Союз. Если мы, русские члены Приёмной комиссии, не принимали в Союз еврея, причём совершенно по объективным причинам (бездарен, тяготятен, мало написал, подождём), то члены комиссии евреи тут же автоматически топили русского, будь он хоть расталантив. Но как-то всё же договаривались, Союз писателей рос.

Именно в ЦДЛ я познакомился и мгновенно сдружился с Анатолием Кончицем, земляки же. Он часто звонил и забавлял, например, тем, что вот сейчас перечитал «Господина из Сан-Франциско» и понял, что в России только три прозаика: «Ты, я и Бунин». — «Тут у меня ещё Женя сидит», — говорил я. «Да, и ещё Женя». Но это он так шутил, а сам был скромнейший, совершенно не пробивной человек. Он написал повесть, где главный герой — унылый маленький человек советского времени. Комната в коммуналке, зарплата ниже уровня моря, кто такого полюбит? Но однажды в его комнате вдруг отъехала в сторону стена, за ней открылся сад, беседки, выскочил швейцар и пригласил: «А пожалте, барин, для аппетита погулять». Вот такой сюжет. Швейцар, имя его Филимон, любил барина. У берега тихой речки, конечно с лебедями, пели девушки в сарафанах, доносилась свирель пастуха. И барин, совершенно разнеженный,

говорил Филимону: «Дай-ка ты мне, братец, в руки пистолет да поставь-ка ты себе на голову яблоко». — «А не портили бы вы яблоко, барин», — отвечал Филимон, нисколько не сомневаясь, что барин попадёт не в лоб, а в цель.

Толя, посмеявшись, сказал вдруг:

— А что, барин, не мало ли мы погрелись?

Мы стояли среди морозного тумана. Окутанные седым снежным куржаком, извергая мгновенно замерзающие облака выхлопа, пронеслись автобусы. Скрипели валенки торопливых закутанных прохожих. Непонятное время как бы умершего от холода дня подстрекало к сопротивлению. Тем более после бани боялись простыть.

— Да, Филимон, — отвечал я. — Не будем портить радость от встречи разговорами о роли интеллигенции в её личной жизни.

Но в тот же вечер мы снова нарвались на такие разговоры. Нас заарканила областная гросдама (прошу только не думать ни на кого из знакомых вятских женщин), её давно нет в Кирове, тогда же она держала своеобразный салон. У неё, помню, были какие-то прыгающие по стенам и потолку пресноводные лягушки. Это добавляло ощущений. Театральная и околотеатральная публика, телевизионщики, ещё кто-то пели и пили и говорили услышанное по «Голосу Америки». Наша интеллигенция, что для неё, увы, естественно, верила разным «голосам» сильнее, чем голосу Москвы. Виновата и Москва (очень дубовые тексты звучали над страной), но и сама интеллигенция, которой со времён предателя Курбского, а его демократы числят в основателях русской интеллигенции, кажется, что всё заграничное лучше всего. Мне слышать то, что слышал-переслышал в ЦДЛ, было уже и невмоготу. Господи Боже мой, я на родине, в богоспасаемой Вятке, и снова должен слушать бесконечное: Сталин, евреи, свобода творчества, пример Запада, отношение к интеллигенции, оплата творчества по таланту (все же таланты!), сколько можно?

— Я ухожу, — сказал я Толе. — А ты, барин, как изволишь.

Игра в барина и Филимона уже привязалась к нам, только мы так и не поняли, кто из нас барин, а кто слуга.

— И на кого ж ты меня покинешь? — отвечал Толя. Мы выбрались из-за стола вроде покурить, оделись в прихожей и самым примитивным образом эмигрировали. Так сказать, безвизно. Мороз ещё подбавил. Троллейбусы уже не ходили. Стали ловить машину. Толя остался на остановке, поставив на скамью портфель и высказывая голосовать проезжающим, я перешёл на другую сторону.

Машину-то мы поймали, а вот портфель у нас свистнули.

— Да, — сказал я, — очарование родиной продолжается. — Мы недолго бы переживали, если б портфель пропал без содержимого, но он пропал именно заряженным. Мы стали искать то, чем можно было б залить горечь интеллигентских дискуссий. Конечно, с высоты лет легко нас осудить: шли бы спать, и всё, но поставьте себя на наше место. Приехали на родину, давно не виделись.

Выручил писатель Владимир Ситников, спасибо. Он совершил нерядовой поступок, когда в глухую полночь вышел на наш звонок на площадку квартиры, сразу всё понял и помог.

На улице у меня лопнула подошва зимнего австрийского ботинка. На такие морозы она явно была не рассчитана. А ведь знали же немцы, что в России есть генерал Мороз. Быстро забыли. Нога моя заколела в минуту. Вприпрыжку мы побежали ночевать к моему брату.

Утром брат залил пространство щели на ботинке каким-то особым клеем.

— Погоду слушал, — сказал он. — У тебя, Толя, в Перми, гораздо теплее.

И вот эта случайная фраза брата о погоде решила нашу судьбу. Сидели на кухне и всё прокручивали вчерашнее сидение с вятским бомондом. Разговоры его ничуть не



отличались от разговоров и в Москве, и в Перми, рассуждали мы. У интеллигенции всегда все виноваты, но не она. Любимая тема — говорить о привилегиях начальства. Это же показывает зависть говорящего. Вторая любимая тема — обсасывать уже прошедшие события истории, которые уже не изменишь. Но зато сколько возможностей показать ум. Третья тема — осуждение пишущих (рисующих, играющих) собратьев. Конечно, все бездары. И так далее.

— У нас в Перми, — сказал Толя, — есть два поэта. Два враждующих. Зовут Штепель и Тарапунька. Один — два метра, другой — метр с кепкой. Метр с кепкой написал: «Мировоззрение окраин центростремительней ума». Завихрение, конечно, но имеет же право. А высокий, Тарапунька, стал высмеивать: у этого шплинта и мировоззрение. Что ты! Обида, вражда. Если один пришёл в Союз писателей, другой не придёт.

— И у каждого читатели, так ведь?

— Естественно. А поехали-ка, Филимон, на вокзал, — сказал Толя. — Выпьем там. Не для пьянства, а чтоб не отвыкнуть для.

Поехали. Моментально схватили такси. Вообще, в дореформенной России с такси не было проблем, в Кирове особенно. Такси можно было вызвать из уличного телефона-автомата. Звонишь — через три минуты выезжает из-за угла. Ещё через пять минут водитель становится хорошим знакомым, а к концу поездки — преданным товарищем. Для начала Толя всегда читал стихи Передреева: «И вот стою и погибаю среди райцентровской грязи. Вот снова руку поднимаю, вот умоляю: подвези! Шофёр берёт меня, сажает, а я ему не сват, не зять. Шофёр глаза свои сужает, соображает, сколько взять...» Вятские таксисты, в отличие от московских, глаза не сужали, брали по счётчику (что, кстати, было очень недорого), а один раз возивший нас таксист заявил: «Парни, это я вам должен платить, а не вы. Я с вами, парни, как в кино сходил». То есть умели мы поговорить с народом. Правда, народ был не нынешний. А таксисты, думаю, уже и забыли, когда возили простых людей.

Опять у меня перекидка в нынешние времена. Но, когда вспоминаешь, невольно сравниваешь. Поминая дни древние, поучаешься в них, говорит Псалтырь. Так и мы. Всё познаётся в сравнении. Чем плохо жили? Да ничем. Главное, не боялись завтрашнего дня. Стали недовольны жизнью — получай. Недовольство жизнью всегда ведёт к её ухудшению.

Толсто замёрзшие стекла вокзального ресторана не пропускали ни свету, ни изображения того, что происходило на перроне. Слышен был шум уходящих и приходящих электричек, гудки электровозов.

— С этими разговорами, — сказал я, — будто из Москвы не уезжал.

— А я из Перми. У нас же тоже и «Немецкую волну», и «Свободу», и «Голос Америки» слушают. Глушат, конечно, да что толку. Антенны насобачились делать, приёмники делают помощней. За высокую техническую грамотность! — поднял Толя бокал.

— И за низкую национальную сознательность! — поднял я свой навстречу. — То есть за то, чтоб она возросла.

— Как всегда будет поздно, — хладнокровно отвечал Толя. Он закурил, порассматривал ногти на пальцах, поднял взгляд и весело предложил: — А поедем, Филимон, в Пермь. Сказал же брат — там теплее.

— Тогда уж в Москву. Там вообще оттепель. Мы почти посередине. Жребий?

— Жребий? — Толя уже достал спички и одну из них обезглавил. — Но! Вытянем Москву, а вдруг вначале пойдёт на восток. Давай поедем туда, куда пойдёт скорее.

— Давай.

Мы поднялись в кассовый зал, к расписанию. Вышло в Пермь. Билеты, правда, были в общий вагон, но что с того.

— Зима, мороз, и все куда-то едут. Ну мы-то хотя бы освежить взгляд зрелищем заснеженной России, а все-то куда? — спрашивал Толя, проверяя запасы огня и дыма, сигарет и спичек.

Поезд, на диво, пришёл и отошёл вовремя. В вагоне было так натоплено, что по нему бродили в майках. Плакали дети, орали динамики. Вагон был чуть ли не двадцатый, хвостовой. Выехали за привокзальные стрелки — и всё равно мотало. Толя уже узнал, что в поезде ресторана нет, есть буфет, но это не то.

— Почему?

— Как говорят психологи, выслушай информацию со знаком минус: в буфете только аква минерале. — Толя сделал паузу. — А теперь выслушай информацию со знаком плюс: в первом вагоне у проводника, официальная кличка Игорь, есть. Правда, надбавка за подпольную продажу, ну-к что ж. Идём? Водка от гонений крепнет.

Тогда, опять же кстати, качество спиртного было данным, то есть надёжным. Демократического пойла, убивающего людей, вроде «королевского» спирта «ройяль», вроде чудовищной ацетоновой бормотухи не было и в страшном сне.

Мы оставили полушубки и пошагали налегке. Представьте эти два десятка вагонов, в которых жар и духота, и эти снежные тоннели тамбуров, эти тяжёлые обросшие ледяным паролем от нашего проводника, назвал сумму. Мы к тому времени уже умели не удивляться. Купили расположение этого Игоря ещё и тем, что сообщили: одну распечатываем с ним, одну берём с собой. Платим за обе.

— Вот такой пошёл клиент у тебя.

Добру добро откликается — в служебном купе появились и горячая картошечка и рыба, также огурчики-помидорчики, вызвавшие в памяти частушку: «Огурчики-помидорчики, Сталин Кирова убил в коридорчике». Хотя и не убивал, а в частушку для закрепления в народной памяти попали оба. Посидели душевно, пошли. И снова эти контрасты жары и полярного холода, снова эти перемёрзшие окна, за которыми что-то проносилось.

— Как в метро едем, — сказал я на середине пути.

— Слушай, барин, беря в рассуждение то, что от этих сквозняков и мороза ни в одном глазу, а также трудность добывания горячего, а также то, что всё равно снова идти, то...

— Не из горла же.

В том же вагоне, в котором пришло разумное решение, мы обратились к проводнице как близкие друзья Игоря. Да и без Игоря мы были в своём народе. Огурчиков не было, но чистые стаканы, но хлеб, но шоколадка предстали в ту же минуту. Посидеть с нами проводница отказалась. Оставила нас из деликатности одних, пошла подметать.

— Надо бы ей стих сочинить, — предложил я. — Еда на уровне министров, да и обслуживают быстро.

Толя подхватил:

— Нам так понравилось сидеть, что захотелось к вам опеть.

Мы всё прибрали, вышли в тамбур. Толя курил, я мёрз. Пытался продышать глазок в стекле. Вроде протаивало, но как только отклонялся, чтоб набрать воздуха, глазок затуманивался, как засыпающий.

— Удмуртию, наверное, проезжаем.

— Не Удмуртию, а Глазовский уезд Вятской губернии, — поправил Толя. — Мы вятские, чужого нам не надо, но наше отдай. Нас вообще кругом обтяпали. Чайковский был наш, стал удмуртским, это что? Заболоцкий отошёл к марийцам, Шаляпин к татарам, Шишкин к ним же. Что ж осталось? Васнецовы только. Ну что, барин, к Игорю?

Игорь уже был не проводник, а полупроводник, как мы его потом назвали. Но, выпивая, он не хамел, цены не прибавлял, только всё обещал начистить морду электрику состава.

— Он же всю дорогу дрыхнет. Вот и отоварил Райку. Нет, начищу! Будет блеснуть, будет!

— С мордой не связывайся, — посоветовал Толя. — Пристрели и выкинь. Проще. Вместе с Райкой.

И опять этот поход из головы в хвост. По пути благодарили проводницу, обещали написать ей стих. В этот раз всё-таки решили пойти до своего вагона, а то как бы наши полушубки не скоммуниздили. В вагоне полушубки были на месте.

— Филимон, давай пока не будем открывать, давай сочиним, обещали же.

Соседи по купе засобирались выходить в Верещагине.

— Уже Верещагино! — ахнул Толя. — Да, барин, вот как, оказывается, надо преодолевать пространство. Преодолевать его в движении. Лёжа мы бы так быстро не ехали.

Мы улучшили жилищные условия, то есть перебрались с боковых мест на перпендикулярные им. Стали сочинять. Я письменно, Толя устно.

*В жаре, на полке боковой,  
Над колесом, у туалета,  
Я ехал к крестнику домой,  
Он был поэтом.  
Крик жён, храпенье их мужей,  
Хрипенье радиоэфира,  
Казалось мне, что нет уже  
Другого мира.  
И обескровленный листок  
В окне метался.  
Изнемогая, на восток  
Я продвигался...*

Окончание я забыл, да это и неважно. Толя, как профессионал, сочинил гораздо лучше: «Надоело болтать и стограммить под хмельную чечётку колёс. Я сумею состав застопкранить, я успею уйти под откос. Вы меня ни за что не найдёте, мне на вас глубоко наплевать. Ах, какие на поле омёты, я в омёты уйду ночевать... — Дальше, помню, было: — С головою зарююсь в лучи и усну в золотистой соломе, как у мамы на русской печи. — В конце стояло: — Не забыт он, не предан, не зăпит родниковой отчизны исток. Мне на Вятку, на запад, на запад, а колеса стучат на восток».

Толя щедро похвалил мои способности к рифме, но поправил:

— То, что я твой крестник, ты верно отобразил, но почему про этого крестника: он был поэтом? Был? Если так, то я сумею состав застопкранить. Все будут как обескровленные листки метаться.

— А на кого это тебе глубоко наплевать?

— Они поймут.

В Перми вряд ли было теплее. Доказательством мороза было то, что прямо на вокзале у меня лопнула вторая подошва, и первая, та, которую лечил брат, тоже треснула, но не по склеенному, брат сделал на совесть, а рядом.

— У тебя дома клей есть?

— У меня, как в Греции, всё есть, — отвечал Толя. — Но ты что, думаешь сдаваться? У меня и жена есть, даже и вятская, то есть даже больше, чем хорошая, да ведь жена-а. Но! Барин, сейчас хоть и темно, а ведь ещё и шести нет. Помнишь шутку: до семи пьют семиты, а после семи антисемиты.

Поехали в Союз, там даже точно кто-нибудь есть.

О, эти бесконечные пермские улицы, проспекты, гигантские площади. Ну зачем, скажите мне, иметь в городе улицу, конечно, имени Ленина длиной в семьдесят километров? Одно утешало, что в Перми есть своя Царь-пушка размерами больше Царь-пушки, стоящей в Кремле. Причём важное отличие: кремлёвская пушка так и не выстрелила, а пермская и стреляла, и ещё вполне может стрелять. Сведение, ценное для нынешних времён.

Приехали в Союз писателей. Там было народисто. Рядом с Союзом писателей был клуб МВД, конечно, имени Дзержинского. В нём мы быстро достали всё необходимое для радости встречи. Вот, кстати, тоже глагол: достать. Этот глагол гораздо энергичнее, нежели глагол «купить». Купить любой может, а ты достань. Достать — дело творческое. Загремела казённая посуда, с меня требовали московских новостей. Но я всегда замечал, что в провинции больше знают о Москве, нежели в самой Москве. Высокый поэт, назовём Александром, завладел вниманием.

— Этот шплинт, — сказал он, — этот шибздик имеет ми-ровоззрение.

— Хватит тебе! — закричали присутствующие.

— О! — вдруг встрепенулся Толя, сидящий рядом. — Ведь Славка рядом живёт. — Толя вышел. Потом я понял, что он звонил поэту маленького роста, просил прийти в Союз.

Тут началось и блистательно произошло событие, положившее конец поэтической вражде. Событие задумал и провёл Толя. Он примерно рассчитал время прибытия Славы и наполнил бокалы.

— За Пушкина! — возгласил он.

Возражений не было. Только встали (за Россию, за Пушкина, за женщин — стоя), как в дверях появился Слава. Александр поперхнулся, Слава попятился, но Толя подскочил к дверям, загородил Славе выход и закричал:

— Тих-ха! Саш, скажи только одно: хуже или лучше Пушкина ты пишешь? Мы знаем, что ты прекрасный поэт, ты заработал бессмертие, но вот кто лучше: ты или Пушкин?

Александр помялся, переступил (все ждали ответа) и угрюмо проворчал:

— Ну, Пушкин.

— А ты, Слав? — тут же обратился Толя к маленькому ростом. — Ты лучше Пушкина пишешь, а?

— Что глупость говорить? — ответил Слава. — Пушкин же.

— Итак! — поднял руку Толя. — Вы оба пишете хуже Пушкина, так чего вам делить? Чего? Ну-ка, брудершафт!

Мы загудели одобрительно, стали подталкивать противников друг ко другу. И — свершилось: Толя с помощью Пушкина и с нашей помощью покончил с враждой, вырвал её корни. Славу и Александра посадили вместе. Александр отечески подливал соседу и гудел:

— Плюнь ты на эти мировоззрения, пиши проще. Как у Пушкина: мороз и солнце, понимаешь, прибежали в избу дети... так и молоти.

Сидение закончилось. Тогдашний секретарь пермского отделения Союза писателей Николай Николаевич Вагнер позвал нас к себе. Много лет назад он похоронил жену, больше не женился, жил одиноко, но очень чисто в трёхкомнатной квартире.

Сразу отказался от нашего предложения посидеть на кухне, стал накрывать в большой гостиной. Любо-дорого было смотреть, как он постилает чистейшую скатерть, достаёт из серванта и перетирает хрусталь, фарфор, раскладывает мельхиоровые приборы, извлекает из морозилки запотевшие ёмкости, нарезает дефицитные продукты. Опять отвлекусь: это была чисто русская советская загадка тех времён: при пустых магазинах изобилие продуктов в домах. На Западе в магазинах все ломилось, а придёшь к ним домой — пусто, экономно, ужимисто. У нас всегда полная чаша. Сейчас более начинаем походить на Запад.

Николаю хотелось поговорить с московским гостем.

— Вот этот, — он назвал модную фамилию, — ведь еврей?

— Ну?

— Я сразу понял. Не успел напечатать роман, как уже шквал аплодисментов. А ведь в зубы нечего взять, просто гигантский очерк, а не роман. А вот этот (фамилия) русский, прекраснейшая повесть, и никто ни звука.

— Ни слова о евреях! — закричали мы.

— При Сталине... — начал Николай.

— Ни слова о Сталине, — закричали мы.

— Значит, молчать?

— Есть же третья тема, — о женщинах.

Потом мы воспели этот вечер в стихах: «Коля жил как отшельник игумен, лишь с печатной машинкой дружил, и в горячке писательских буден без излишеств, без пьянства он жил. Только надо ж такому случиться — был покой монастырский сметён, вдруг явился к нему из столицы барин в туфлях, а с ним Филимон...» Про барина и Филимона мы, конечно, Николаю рассказали.

— С женщинами я вам не помощник, — ответил Николай. — Но пригласить могу.

— Приглашай, — распорядился Толя. — Желательно постарше. Для общения, для интеллекта. Вдохновения хватает.

Я вызвался чистить картошку и жарить мясо, они пошли звонить. Слышно было, как Толя энергично уговаривает:

— В такой мороз надо держаться ближе друг к другу. На полчаса? Отлично. В нашей жизни и пять минут могут стать вечностью.

Одну уговорили. Стали звонить второй. Вторая, объяснил Николай, была очень важной женщиной, со склада запчастей. Познакомился, когда ездил доставать что-то для своих «Жигулей». «Писателей, говорит, уважаю. Телефон дала домашний».

И вторую уговорили. И мясо у меня подошло и томилось под чугунной крышкой. Обе приехали чуть ли не враз. Первой та, которую Толя уговаривал особенно жарко. Зрелище было страшным. Потом мы его описали так: «Филимон возле дамы хлопочет, возле дамы ужасной своей, у которой ни сердца, ни почек, ни волос, ни бровей, ни груди». Вторая была раза в два моложе, но тоже сильно в годах.

Я сидел напротив Толи и видел, что он и страшится, и мужается поглядеть на соседку. Другая, со склада, была проще и веселее. Чем-то ей понравился именно я. Она предложила спеть интеллигентскую песню: «Миленький ты мой, возьми меня с собой». Спели и стали анализировать: кто в центре песни? Эмигрант? Скорее, ещё не уехавший, но отправивший в «край далёкий» и жену, и сестру. Ведь в краю далёком есть у него и жена, и сестра. Заставили Толю читать стихи. Всё было душевно.

Полночь, однако, приближалась. Женщина со склада вполне освоилась в квартире, сообщила мне, что нам надо занять одну из комнат, что уже люди устали, надо дать им отдохнуть, и нам пора. Николай, наклоняясь ко мне, вдальблывал, чтоб я непременно к утру достал крестовину для его «Жигулей». Вот женщина, прихватив в одну руку

рюмки, в другую графин (Николай же не мог опуститься до того, чтоб наливать гостям из бутылок), лягнула меня в плечо бедром и пошла. Николай стал меня толкать вслед за ней, повторяя: «Крестовина, крестовина!» Так он меня и затолкал в камеру пыток.

— Миленький, — хлопнула в ладоши женщина, — контрольный звоночек, и...

Этот контрольный звоночек меня спас. Оказывается, муж женщины уехал в тот день проверять отопление на даче и собирался там ночевать, а приехал туда — всё отопление полопалось, трубы перемёрзли, и он возвращается. Хорошо ещё, заехал к знакомым гаишникам и позвонил с поста. Эти сведения женщина получила от матери, взвизгнула и мгновенно собралась. Я фальшиво и радостно кричал:

— Как? Так сразу?

Вызвали такси. Оно, как и в Вятке, подрулило моментально. Женщина исчезла. Вскоре отправили и вторую. Можно себе представить радостное мужское застолье, которое вслед за этим продолжалось ещё дня три-четыре.

Но в этих днях были: и баня, и покупка мне зимних ботинок, не австрийских — отечественных, тёплых, надёжных, были и встречи с трудящимися и учащимися. Продолжалась игра и в барина, и в Филимона, причём я до сих пор не понял, кто из нас кто. Ослабев здоровьем, я уже не мог ехать поездом. Тем более, если б я поехал поездом, то как бы я проехал Вятку? А на неё уже не оставалось сил. И я улетел самолётом. Всё было настолько доступно и настолько мы все это не ценили, что... что теперь!

В Москве измученный Уралом организм схватил простуду уже на трапе самолёта при выходе, и вечером того же дня я отправился лечиться. Куда? Конечно, в ЦДЛ. И там, конечно, сидел Анатолий Кончиц, которому я и рассказал о воплощении его литературных персонажей, что его повесть, так сказать, каким-то боком вышла всё же в люди.

И какова же, как говорил знакомый писатель кавказских кровей, какова же «марал»? Он не видел смысла в рассказе, если в нём не было любовной морали.

Да, какова «марал»? А никакой. Чего теперь, когда всё в России — и власть, и финансы, и особенно средства массовой информации, театр, кино, — всё захвачено, я не скажу — нерусскими, но скажу — антирусскими людьми. Именно так. И мы сами помогли этому. Одно утешает — всё это захвачено, а захватчики трясутся от страха. Они же понимают, что Россия осталась с русскими.

Но как же помогли? Очень просто: тем, что подвигивали кухонным борцам, желающим публично говорить правду, желающим жить в другой стране или переделывать эту страну. Мало было, что говорили везде и говорили, кто что хотел. Но ведь так хотелось кайфа — тиражировать то, что говоришь на кухне, обнажаться хотелось публично. Ну, обнажились, ну, переделали страну, что ж вам невесело, господа хорошие?

В кратком послесловии сообщаю, что та женщина со склада сама привезла Николаю несколько крестовин, полюбила литературу, выпрашивала мой адрес. Николай выстоял, семья моя сохранилась.

Вот такие воспоминания из времён, когда картошка стоила десять копеек, а в школе детишек учили любить Родину.